

**И**ногда я вижу сон: август, солнце, ветерок подул, комаров разогнал. И мы идем с мамой в тундру. Такая фотография есть в семейном альбоме. Впереди собачки — Дунька, Фунька, рядом с мамой — лайка, которую она назвала Ласочкой в честь возлюбленной Кола Брюньона, весельчака и балагура. Мы идем в тундру (за грибами? за ягодами?), говорим о чем-то, вернее, я рассказываю, а мама смотрит на меня — доченька, доченька...

Таких прогулок осталась неделя-другая, у меня уже телеграмма из Москвы, из Литинститута — я прошла творческий конкурс. И будет Москва, много самых разных городов и людей... Но мамы уже не будет.

А сон снится. И фотография лежит в альбоме — ветер гоняет тучи из Манил на Первую Речку\*, с Первой Речки в Манилы, бегут собачки, и маме на этой фотографии — столько же, сколько мне сейчас.

\*\*\*

Все изменилось. Лина вышла из самолета и уверенно пошла впереди пассажиров, доказывая и им, во время полета разглядывавшим ее украдкой, и самой себе, что и она своя, принадлежит к миру этого поселка.

Варианты чувств, которые она старалась предугадать, выглядывая в иллюминатор, почему-то не возникали; в душе творилось что-то непонятное. Лина ожидала, что поселок, в котором она не была много лет, удивит ее переменами или же, наоборот, все будет до боли узнаваемым.

Теперь же словно чужой человек, не Лина, стоял над поселком — аэропорт располагался на возвышении — и всматривался в поселок, а ее мысли и чувства унеслись, тупая время и пространство.

Поселок лежал перед ней, разбросанный горстями. На подножии одной сопки — аэропорт с несколькими домами. Дальняя его часть, уходящая к малой речушке, — на другой. И самая большая, которая лежала в распадке между двумя сопками, выходила к реке, впадающей в залив.

К дому тетя Нади, жившей вблизи речушки, вело два пути. Можно было спуститься в поселок и пройти через все улицы, а можно было пойти иначе, малохоженным путем, которым пользовались в основном старожилы, да и то не все.

---

\* Манилы, Первая Речка — поселки Пенжинского района Камчатского края.

Первый предполагал улицы и переулки, лица людей, узнавания, расспросы. Лина выбрала второй.

Она свернула за аэропорт, перешла трассу отопления в деревянном панцире и вздохнула с облегчением — все изменилось, и все было по-старому. Возле трассы, словно нить клубка, по которой ей теперь следовать, начинался тротуарчик в три доски. Если по нему идти, не сворачивая, выведет к дому тетя Нади.

Ее попутчики проводили ее взглядами и спустились в поселок.

А она брела по ниточке тротуара, слыша только свои гулкие шаги, так и не понимая толком, кто она и сколько ей лет, даже ее ярко-красное пальто не служило маяком-подсказкой.

Вспоминались лица, слова, обрывки фраз, все это кружилось перед глазами, и когда перед ней, будто сбросив шапку-невидимку, вырос дом тетя Нади, Лину вдруг словно током ударило — она прилетела, это ее поселок, это дом тетя Нади! Лина медленно тронула калитку. Поднялась и услышала, как негромко залаяла собака.

\*\*\*

Собака лаяла нехотя, никто из дома не выходил. Во двор Лина зайти не могла — сторож лениво помахивал хвостом, погавкивал, но мог и цапнуть.

И Лина, походив перед калиткой, подошла к заборчику, который огораживал от двора с деревянным настилом небольшой участок земли с теплицей и метеорологическими приборами, и перемахнула через него.

Теперь она оказалась напротив входной двери. Собака, потеряв ее из вида, успокоилась. Она примостила у ног сумку и стала вглядываться в окна, пытаясь разглядеть в них что-нибудь, но они блестели черной пустотой, словно невозмутимая гладь тундровых озер.

Но вот в окне что-то мелькнуло, словно в озерцо бросили камень, он ухнул и пропал, а сонная гладь воды зашевелилась, заходила кругами.

Дверь открылась, и тетя Надя, шурясь, вглядывалась в Лину, потом втянула в себя воздух, охнула и... запричитала.

— Не ждала, не ждала... — повторяла она. — Что же ты, что же ты... надо было тебе покричать, постучать... а я и не думала... Мой-то с вахты вернулся... старенький мой, отдохнуть лег, и я прилегла и не слышу Дингу.

В командировку приехала? Что же ты, что же ты! И не предупредила, не позвонила, мы бы тебя встретили...

— Все быстро решилось, я и летела с оказией. Я всего на несколько дней, вас навестить, да и статью для столичного журнала заказали...

— Что же ты, что же ты... — все плакала и повторяла тетя Надя.

Лина смутилась, крутила в руках сумку, зажав себя накрепко, словно в кулак — тетя Надя знала о смерти матери, Лина ей написала об этом.

Навстречу шел дядь Петя.

— Лина? Какая взрослая... Давно не была на родине... А у нас тут...

Лина почти ничего не говорила, поняв, что сейчас тетя Надя и дядь Петя слышат только самих себя, словно токующие глухари. Они наперебой рассказывали о событиях, происшедших в поселке за это время, горячились и перебивали друг друга.

Лина знала, что внешне выглядит как надо, и никто не догадывается, что творится у нее внутри. А там птица, вырвавшись на волю, все расправляла и расправляла крылья, и Лина, испугавшись, что заплачет, опустила глаза, посмотрела на сумку и, вспомнив, что там находится, удивилась себе — надо же, забыла...

Она театрально выдержала паузу, вклинилась в их токование, раскрыла сумку и стала доставать из нее подарки: бутылку хорошей водки, дорогой коньяк, колбасу, кусок сыра с плесенью и помидоры черри.

Дядя Петя растроганно зачастил:

— Это ты мне привезла? Вспомнила...

— Тебе, мой старенький, — запела тетя Надя. — Деликатесы какие!

Быстро собрали на стол, открыли бутылку водки. Лина поступила, как полагается: потупила глаза, сказала, что не пьет водку, дала себя уговорить, потом выпила, не забыв поморщиться.

Тетя Надя заговорила о матери, заплакала, и Лина опустила голову, прислушиваясь к себе. Странное дело, воспоминания тетя Нади и других людей о матери не очень-то и трогали ее, наверное, потому, что она жила исключительно собственной памятью, словно мать существовала только для нее, и Лина намеренно запрятала эти воспоминания далеко, в особо оберегаемый уголок памяти.

Правда, иногда тревожило — а вдруг, когда она, оставшись наедине с собой, потянется за этим самым сокровенным, в иные минуты недоступным даже ей, отопрет семь замков, скажет заветное слово и... окажется, что там ничегошеньки нет, лишь черная пустота в дорогом ларце. И когда закрадывалась эта мысль, она спешила проверить — но нет, пока все было в порядке.

Тетя Надя заговорила о матери, и Лина, встрепенувшись, тут же кинулась в темницу, торопясь, быстро открыла засовы, подняла крышку ларца, и с облегчением вздохнула — тут оно, сокровенное, на месте.

И успокоилась, аккуратно все закрыла, вернулась на свет, словно из воды вынырнула — сначала слабо, точно через пелену, не вникая в смысл, услышала голос тетя Нади. А спустя несколько секунд уже поняла, о чем речь, вклинилась в разговор.

Она выпила еще и расслабилась — хотелось покоя, она поняла это совершенно ясно. А кто его знает, может именно здесь, в этом поселке, в котором она родилась и из которого отправилась в дальний поход — за чем? — за Синей или жар-птицей, она и найдет ее.

Эта птица, мелькнув, срывала ее с места. Как сумасшедшая она мчалась за ней — в сутолоке Москвы, ловила на улочках Таллинна, площадях Риги, у минаретов Самарканда; птица мелькнула в сумерках, когда она ела шашлык, запивая его вином, на холме, с которого были видны вечерние огни Нальчика; она была и здесь, на севере Камчатки, оставив красные следы на сопках, слившись с птицей из сказки, рассказанной ей матерью еще в детстве...

Тетя Надя с дядей Петей заспорили о том, изменилась ли Лина за эти годы, что не была в поселке.

Дядя Петя старательно морщил лоб, потом сказал: — Не изменилась... выросла, да, но все такая же.

Но тетя Надя заметила невидимое его мужскому глазу.

— Очень изменилась. И взрослая стала, и изменилась, — сказала она.

Лина поняла, что недооценила подругу матери.

Да, она изменилась во многом — внешностью, повадками, научилась приспособливаться... Но ей показалось, что тетя Надя имела в виду не только это — но как это можно было понять за десять-двадцать минут?

— А какой умницей была твоя мать, — говорила между тем тетя Надя. — Как же, с образованием, из такой семьи, и поехала с твоим отцом на самый север Камчатки, работала в рыбокопе. Почти всю жизнь одна. Отец-то твой как погиб, так и была одна, а ведь многие сватались. Ты отца-то помнишь? Ой, правда, ты крохой тогда была...

Лина перестала прислушиваться. В детстве ее очень ранило то, что у всех есть отцы, а у нее нет, но потом все зарубцевалось, сгладилось, и она перестала об этом

думать, по-детски эгоистически решив, что им даже лучше без отца, и никого им не надо, мама любит только ее.

Оказалось — когда она спустилась в подполье и проверяла ларец, — обрывок, кусочек воспоминания выскользнул из-под засова, прицепился к ней, словно низкий туман, который цепляется к ногам, и она унесла его с собой.

Теть Надя и ее муж сидели захмелевшие, обсуждали сыр с плесенью и «маленькие помидорки, не то, что наши, из теплицы».

А незримо для них, поодаль, на пустом табурете, сидела мама.

\*\*\*

Они тогда зашли в гости к теть Наде. Лине было лет шесть, оставалось чуть-чуть до первого класса, а мама еще была молода и красива.

Взрослые налили по стопочке. Теть Надя дурачилась, закатывая к потолку сине-голубые, с поволокой глаза, ее муж улыбался и поддакивал.

Мама склонила голову набок, закинула ногу на ногу и начала говорить. У нее была удивительная манера говорить — она то повышала, то понижала голос, делала паузы, потом взмахивала рукой и уже говорила быстро-быстро. Лине нравилось слушать ее голос.

Мама рассказывала о странных вещах, Лине неведомых: о том, как цветут яблони весной на юге, и какой она построит дом, когда заработает денег, и какие возле дома будут деревья — яблони, груши, вишни.

За окном были сугробы по окнам, мороз, на столе — гора сушеной корюшки, которую ели, точно семечки щелкали. Маленькая Лина слушала маму — у нее был такой спокойный голос, блестящие глаза, мама лучше и сильнее всех, все будет хорошо...

\*\*\*

Шумел, бился о стекло ветер.

Она открыла глаза — за окном была теплица, над теплицей — небо, по которому на север, на Чукотку, бежали кудрявые облака. По дому полз запах жареной кеты.

— Проснулась? Завтракать иди! — нагнувшись к сковородке теть Надя взглянула на нее вполоборота, выложила на тарелки красноогненные куски жареной кеты.

— Ты мне поможешь? Надо показания с приборов снять. Сначала во дворе, а завтра на речке и у залива. Петя поел, на работу уже пошел, у них что-то с трактором, а у меня зрение, стала плохо видеть цифры на приборах. И в очках плохо вижу, только с лупой. Но работу терять не хочу, работа спокойная, не хлопотная — сняла показания, отправила их, и все, будут прогноз погоды делать. А вечером можно и в баню сходить, сегодня банный день, попарись с дороги... Эти свои интервью когда будешь делать?

— Помогу! Конечно, помогу! Интервью — завтра, наверное, — с Зоей Ивановой. Я ей звонила из Петропавловска.

— Здесь она. Снилось что-нибудь на новом-то месте? Я своему говорю — хорошо спит, в городах этих и не выспишься, а тут — родина!

Теть Надя положила последние куски кеты, оторвалась от сковородки и в ожидании ответа посмотрела на Лину.

— Не помню, что снилось. Но выспалась хорошо. Мягко, тепло...

— Подушка у меня и правда знатная, сама когда-то подушку делала, на птичнике перо брала, перебирала потом, чтобы мягко было. Так меня чуть медведь

не сожрал из-за этой подушки! Иду с пером с птичника вечером — вдруг что-то шелестит! Медведь! На запаха кур пришел. И я как заголосила, чтобы отпугнуть:

— Гори, гори моя звезда!

А ничего умнее в голову не пришло! И какая разница, что орать?!

Теть Надя прищурила глаза, довольная рассказом, но смеялась недолго, осеклась, отвела взгляд в окно. Замолчала и Лина. Остывала на тарелке кета, терлась о ноги кошка, а они вдвоем сидели за столом у окна, смотрели в него и думали о своем.

Лина не особо задумывалась над тем, что и как сейчас делает. Ее несло по течению, чувство возраста опять исчезло, она балансировала на мостике, пружинисто подбрасывавшем ее при каждом шаге.

Этот мост не был ее выдумкой, он существовал в поселке, но она все не могла решиться сходить и посмотреть на него, как и на то место, где когда-то стоял дом, в котором они жили с матерью. Как сказала теть Надя: дом снесли, разобрали.

Старые места. Она боялась возвращаться на старые места.

Лина сидела, размешивая брусничное варенье в кружке, и вдруг спросила о Юрке.

— Спился... А какой парень был... — закачала головой теть Надя. — Да, он здесь, в поселке. А-а, вы же вместе в школе учились!

— В параллельных классах, — ответила поспешно, словно боясь, что теть Надя сейчас вспомнит все о ней и Юрке (а мама наверняка рассказывала ей «о первой любви Лины»). «Какой парень был...» — повторила Лина про себя, удивившись своему вопросу.

Старый мостик, раскачиваясь под ногами, подбросил ее высоко-высоко, и она все летела и летела, потеряв опору. Ей казалось, что она и, правда, стоит на нем. Мостик был живым, и настроение у него было по погоде. Да и к Лине он относился по-разному.

Пепельные, вымытые дождями и высушенные ветрами доски (казалось, дунь, разлетятся пеплом, запорошат глаза) жили, держались изнутри какой-то силой. Шаг, еще шаг — и они пружинили, раскачивались, исчезали из-под ног, и Лина, чуть-чуть не дотянувшись до покрытого серой пеленой неба, падала в речку, скользила на мокрых досках...

\*\*\*

Постояв несколько минут на крыльце, золотистом под лучами солнца (крыльцо было недавно обновлено, добротные доски светились теплым, медовым светом), они спустились в поселок и пошли по дощатым тротуарам. Теть Надя рассказывала ей о прохожих — многие были Лине незнакомы, узнавались лишь редкие лица старожил.

Поселок был уже не тот, что раньше — осунулся, съезжился. Появились заброшенные дома, работал только один магазин — когда-то их было три, закрыли столовую. Но баня осталась.

Они зашли в баню. В раздевалке было несколько женщин, они уже одевались, вытирая разгоряченные, распаренные телеса, и разговаривали ленивыми, точно сваренными голосами.

— Вода заканчивается, надо быстрее, — сказала теть Надя и понесла свое массивное тело в парилку. Лина потопталась, взяла веник и пошла следом.

Теть Надя лежала на верхней полке и отчаянно, исступленно хлестала себя веником, от которого при каждом ударе расходились по парилке волны нестерпимо горячего пара.

Лина все никак не отваживалась последовать ее примеру. Посидела на нижней полке, хватая ртом воздух. Когда они остались в парилке одни, сказала с уважением:

— Как вы себя!

— Так баня! Вот так надо, вот так! Это тебе не ванна! — в такт ударам веника ответила тетя Надя, а потом захлестала себя еще быстрее, приговаривая: — Не люблю себя, не люблю!

«Хорошенький способ искупить свои грехи», — усмехнулась Лина, и тут же вылетела из парной — тетя Надя поддала жару.

Теть Надя вышла совсем другая, с блеском в глазах.

— Передохну, еще пойду, раньше долго сидела, а сейчас с перерывами! И ты пойдешь! Пойдешь!

Они посидели на скамеечке и пошли в парную.

Теть Надя вручила веник:

— Парь, парь, да как следует!

Только Лина слегка приноровилась, как тетя Надя остановила ее, поднялась с полки:

— Эх, знатно, да хватит. Давай теперь я тебя!

Лина легла, тут же вскрикнула от первых волн, исходивших от веника. Голова закружилась, и она прижалась к полке: словно увеличенные во много раз были видны щели между досками, все сучки, изумительный узор дерева...

О, Господи, как же хорошо быть вот этими досками... Удар веником, и она улетаёт... и опять на досках... Удар, волна — схватить бы глоток воздуха, какой горячий воздух, как кружится голова... Она отрывается от полки, летит, и — а-аах, — словно гвоздь, удар прибавляет ее к полке.

— Хватит? — она с трудом поняла, о чем говорит тетя Надя. — Я уже все, пойду. Ты со мной?

— Я еще немного здесь побуду, — Лина говорила так, словно только что родилась и училась говорить.

Теть Надя вышла, а она — и откуда только взялись силы — подошла к металлической печке, примерилась и плеснула воды. Кто-то открыл дверь и ойкнул, тут же ее захлопнув.

Лина вернулась на полку и начала хлестать себя веником.

На этот раз все было по-другому — она не ощущала удары, тело было невесомым, плыло в облаках. Удар — и она летит, истязаемая на лету, летит с полкой, на досках, которые срослись с ней, и кажется, что она уже никогда не встанет с них, не прекратится блаженный полет...

\*\*\*

Шел третий день, как Лина приехала на родину. Провожаемая взглядом Динги, она пошла в поселок, но не к центру — клубу на площади, — а направилась к крайней улице, лежащей параллельно с речушкой.

Здесь в домике у реки жила Зоя Ивановна. Знаменитая корякская художница и поэтесса Зоя Ивановна. Теть Зоя, которую она знала с детства.

— Ты знаешь, откуда я родом? Нет, здесь, в этом поселке я живу. А родом я из Микинино\*. Никогда не слышала? Много лет назад на побережье Пенжинской губы между устьем реки Пенжины и Паренью были селения, о которых помнят лишь немногие старожилы. Вот в таком поселении береговых коряков я и роди-

---

\* Микинино — поселок в Пенжинском районе, ныне уже не существующий.

лась... Отец мой был охотником и рыбаком... В каком году родилась? В паспорте записано — мол, в 1933-м, но в те годы никаких документов не велось, так что я точно своего возраста не знаю. Может, я уже совсем старая... — в глазах Зои Ивановны вспыхивают лукавые огоньки.

При этом Зоя Ивановна почти ни минуты не сидит на одном месте — то чай ставит, то лезет куда-то искать газетные вырезки, потом наливает чай, спохватывается, что хотела еще и книгу показать, вместо книги находит свой старый дневник:

— Я в него все подробности записываю — быта коряков, воспоминания, что отец рассказывал, что тетка... На самом деле я ведь пареньская. Мать рано умерла, и меня на воспитание взяла семья дяди.

Приемная мать была пареньской, она мне и передала любовь к родным местам.

Когда умирала, сказала: «Хочу, чтобы ты продолжила мою жизнь». Есть такое поверье у береговых коряков. Потом я вышла замуж за местного парня и еще больше породнилась с пареньскими...

Хочешь, я тебе стихи прочитаю, все свои стихи наизусть помню, но лучше очки найду и тетрадочку, куда свои стихи записываю...

За окном уже темно, они опять пьют чай, Зоя Ивановна читает очень простые и очень непростые стихи:

*Мне ли в тундре затеряться?  
Я хозяйка здесь.  
В куропатку превращаться?  
Под кустом сидеть?  
Не боюсь пурги и вьюги,  
Я найду следы,  
Разожгу костер я в юрте,  
Не боюсь беды...  
И в любую непогоду  
Встречу я отца,  
Угощу я непоседу, чай готов, уха,  
Речка песенку слагает,  
Слушай-ка, чакоч,  
Лайка где-то звонко лает,  
Посиди, чакоч...*

— Ты куда обо мне писать будешь? В какой журнал? Еще завтра приходи, я тебе про костюмы расскажу, и самое главное — просьба у меня к тебе есть...

\*\*\*

Дом, в котором жила тетя Надя, был длинным, кособоким, четырехквартирным, но если посмотреть на дом с определенной точки, то остальные квартиры и их дворы исчезали, и этот дом становился только домом тети Нади — крепостью, окруженной невысоким забором, с теплицей, сараем, огородиком и метеоприборами, похожими на ветряные мельницы-стражи.

Дом был необычным не только снаружи, но и внутри. Казалось бы, ничего особенного — крыльцо, коридор, кухня, спальня. На севере комнат немного, иначе не natoпишься. Но еще были кладовки!

Тетя Надя послала ее за сгущенкой к чаю, и Лина, открыв дверь в пристройку, попала будто за кулисы театра, в костюмерную: тут висели кухлянки,



там проветривался кукуль, в углу лежал мотор для лодки... В закутке за перегородкой стояли бочки с соленой рыбой, на полках — консервы...

А вот хлеба не было. Сели пить чай — и сгущенка есть, и брусничное варенье, и масло — а на что масло намазать? Теть Надя попросила ее купить хлеб.

Десяток шагов (магазин стоял рядом с домом), и Лина была уже у другого крыльца, магазинного — большого, высоко-кособокого, с двумя лентами ступенек, на шаткие перила которого облокотились ожидавшие хлеб.

Она кивнула нескольким узанным ею женщинам, скупно ответила на вопросы и тут с ней поздоровался коряк... как же звали его? Миша? Паша? Он заговорил о матери, вспоминая, как она его выручила когда-то, деньги дала, а дочке надо было в райцентр лететь, денег не было... Лина и не подозревала, что мать была так дружна с коряками, и не задумывалась, почему они частенько угощали их с мамой рыбой.

Она говорила с ним, пока не прикатила, переваливаясь с бока на бок, подвода с хлебом.

Лина купила сразу три буханки — хлеб был восхитителен, огромен, она не-сла его, словно пуховые подушки, которые, если чуть надавишь, можно сжать до самой сердцевины.

\*\*\*

Заканчивалось лето, Лина перешла в десятый класс, до сентября и занятий оставалась неделя-другая, и она распорядилась ими по-королевски.

Она чувствовала себя тогда стремительно быстрой, хотелось бездумно смеяться, идти вперед, делать все, что даже не под силу.

Она много ходила по тундре, ничего не боясь — а как много в то лето было медведей, — и открывала окружавший ее мир, будто до этого и не видела его и ходила по волшебной земле, которая неохотно, да и то, если ты это заслужишь, показывает тебе искусно спрятанные диковинки — пройдешь, не заметишь.

Преодолевая теплый смолистый ветер, она пошла по дороге со свечами листовеннич по бокам, уходящей сначала в листовенничную рощу, потом в распадок между сопками, а потом ускользящую в бесконечную тундру. Мысли ее были как ветер, захлестывающий ее волнами — бодрыми и стремительными, они всегда становились такими, когда она уходила из поселка.

Она свернула с дороги и пошла на грибной запах. Под ногами покачивался ягель, кружилась голова, и Лина все глубже погружалась в грибной запах — плотный и почти осязаемый. Она закрывала глаза и брела по редкому листовенничному лесу — от одной кроны с влажным воздухом испарений к другой, от грибов к грибам. Маслята, которые она любила больше всего, холодили руки, Лина нагибалась, подрезала тугие, хрустящие ножки и снимала со шляпок глухо шпокающие, пожелтевшие, вросшие в мякоть иголки.

Невдалеке показалось болотце — она, так хорошо знавшая этот лесок, к своему изумлению открыла его совсем недавно. Дождевая вода неглубоко стояла на небольшой поляне, были видны основания кочек, и длинные стебли росших на кочках трав шевелились в воде.

Лина не могла устоять перед соблазном почувствовать, как проваливается черная бездна под ее ногой, коснулась воды сапогом, и вода тут же стала скользить вниз... Она выдернула ногу, и где-то в глубине мха, в котором только что был ее сапог, булькающе вздохнуло.

Лина отошла назад, а болотце все вздыхало и вздыхало — как живой человек.



Рядом была ягельная полянка — белая, будто припорошенная сухим снегом. Она поставила ведро с грибами, села, вытянула ноги. Все вокруг было до пронзительности наполнено цветом — синее небо, белоснежные облака, шевелившиеся черные стебли в болотце, шершаво-зеленая тундра, ближняя сопка с выпуклой вершиной — ее называли Дунькиным пупом. Все жило, росло под уже скудеющим августовским солнцем, и не хотелось думать, что будет дальше, можно было просто смотреть на мир. А потом закрыть глаза — темнота, опять открыть и заново увидеть мир.

«Как хорошо! — думала Лина, лежа на ягеле и глядя на небо. — Как все совершенно... Неужели так будет всегда? Как хорошо».

Лина вспомнила, как вчера смотрел на нее Юрка, и засмеялась, закрыла глаза, в темноте расплылись цветные, радужные круги, и все ушло, отдалилось, она почувствовала только солнце на лице и легкий ветерок.

\*\*\*

— Я уже в окно смотрю — идешь, не идешь... Чаек заварила. Со зверобоем. Прочитала у Килпалина\* — если в чай и в пищу постоянно зверобой добавлять, болеть не будешь...

— А кипрей? — диктофон лежит на столе, записывает, а Лина не отводит глаз от Зои Ивановны.

— Кипрей сушили, толкли, с жиром ели. Толкуши делали. Свежие листья заваривали как чай. Рецептов много... Я с тобой поговорить хотела. Смотри — вот книжка, а вот вырезка из журнала.

Здесь пишут про корякскую письменность. Пишут, что не было ее.

А здесь написано — письменность для корякского языка была разработана в 1932–1933 годах на основе единого северного алфавита. В 1937 году корякская письменность, как и другие письменности языков народов Севера, была переведена на русскую графическую основу... В начале шестидесятых годов написания «к», «н» были заменены соответствующими буквами с «хвостами».

А я когда в Москве была, правда, это давно было, говорила со специалистами — рассказывала им о пиктограммах, которые были у коряков. Я сама такие видела.

Они говорят: да, иногда пишут, что была у коряков такая письменность, но это не так.

Как понять: «пишут, что была, но это не так»? И стали намекать, что это у меня фантазии такие, как у художницы...

А другой человек, когда я ему письмо написала и все рассказала, ответил — вот письмо, — что вопросы письменности, графики и орфографии корякского языка в специальных работах почти не затрагивались.

Видишь как? Если возможность будет, узнаешь, поговоришь? Согласна?

— Хорошо!

Опять чай, и Зоя Ивановна рассказывает уже про одежду коряков.

— Да ведь это совсем другой подход к кройке! Его изучать надо. В парижских домах моды так не шьют! Крой у кожи и меха совсем другой, если взять выкройку — она напоминает шкуру. Шкуру, которую растянули для просушки. Шкуры добывались трудно и очень ценились, поэтому использовалось все, без отходов. А украшения на одежде существовали, когда коряки бисер и цветные нитки не знали. Из меха, кожи, белого оленьего волоса украшения были...

---

\* Кирилл Килпалин — самобытный корякский художник и писатель.

У Зои Ивановны такой голос, будто сказку рассказывает, хотя говорит она о вещах обычных.

— А когда бисер появился, тут уже фантазия заиграла, стали цветные розетки вышивать. А к ним еще крепить подвески из бисера и бус, меховые кисточки из нерпичьего меха, белого, черного и серого камуса, крашеного меха белька...

\*\*\*

Лина дошла до почты, обогнула ее, и сразу оборвался ветер, подгонявший ее колючими порывами. Неподалеку от почты висел мост. Лина поразилась совпадению воспоминаний и реальности. Она помнила мост до мельчайших подробностей. Так же подробно он и снился ей... Но только почему-то без речушки под мостом. Сейчас же речушка была во всей краткой весенней мощи, вода пенилась и гремела, переваливая на дне камни.

Вскоре подошла тетя Надя, и они стали брать пробы воды — для еженедельного отчета. Потом пошли к заливу. Двое мужчин возились с моторками на берегу, затем завели лодки и уехали.

— Теперь надо подождать, пока вода успокоится, тогда пробу возьмем, — решила тетя Надя.

Стали ждать, присели на выброшенное дерево. Потом подскочили — промокли штаны, дерево было мокрым.

У Лины с матерью не было ни мужчины в доме, ни моторки, и для нее мир обрывался на берегу.

После занятий в школе Лина часто приходила на берег и смотрела, как плещется вода. Она казалась ей выпуклой, готовой выплеснуться через край. Вода изредка захлестывала поселок наводнениями и отступала. Поселок оставался цел и невредим — маленький, как на ладони, растянувшийся возле маленькой речушки и большой реки, уходящей в залив.

Берег большой реки был замечательный, полный чудес, хотя это была всего лишь обычная полоса гальки. Когда Лина спустя много лет пыталась обойти поселок и его окрестности по памяти, она неуверенно двигалась именно по берегу — за каждой баржей, машиной или даже бревном, выброшенным на берег, таилась неизвестность.

За ними мог, например, оказаться лесовоз — плоская посуда, до отказа наполненная громадными бревнами, — и тогда на весь берег пахло свежим бельем с мороза, лиственницей и просто ветром; от этого запаха, если подольше постоять возле лесовоза, начинала кружиться голова. Когда она была маленькой, ей казалось, что в этой лесовозной махине спрятался медведь, который туда забрался, пока грузчики грузили бревна, и он вот-вот покажется из-за бревен.

Или мог оказаться трактор с прицепом, в который из баржи разгружают корюшку, и она, когда ее подбрасывают, искрится в воздухе серебряным дождем.

А сколько чудесного было в моторных лодках — связки свежевывловленной кеты, громадные щуки, ведра с брусничкой, грибами, черной смородиной, которой было изобилие на островах залива — и все это яркого, сочного, бьющего в глаза цвета...

\*\*\*

В доме, где они жили с мамой, поселился бурундучок. Поселился ближе к осени под крыльцом. Сначала его обнаружила мама, и лишь потом, через несколько дней, сказала об этом дочери.

Лина долго не могла в это поверить. Ей казалось, что мать шутит — в тот день у мамы было замечательное настроение, — и решила посмеяться над ней, считая ее маленькой, и опять покажет гномика или домового, чтобы развлечь и себя, и ее. Мама часто показывала ей гномиков и домовых, но дочь, сколько ни старалась, так и не могла их увидеть.

— Смотри, какой он маленький, на голове у него колпачок, он улыбается, видишь, это он радуется тебе...

При этом мать улыбалась невидимому гному, говорила очень искренне, и девочка решила, что все дело в том, что у матери особые глаза, и она видит лучше всех.

Мать рассказала ей о бурундучке, пообещала показать, и на следующее утро, когда дочь уже и забыла об этом бурундучке, в существование которого не верила, мать разбудила ее и повела на крыльцо. Нужно было сидеть тихо, а девочке хотелось спать, и она покорно замерла, убаюканная ласковыми лучами утреннего солнца, как вдруг услышала яростный шепот: «Смотри, смотри!»

Она долго не могла понять, куда нужно смотреть; наверное, это нечто еще и не появилось. Мать только угадала, почувствовала легчайшее движение. Еще несколько минут прошло в ожидании. И вот в воздухе возник пушистый, невесомый хвостик, подрагивающий, ни на секунду не остающийся в неподвижности. Девочка широко раскрыла глаза и затаила дыхание. Наконец и сам бурундучок появился на старом крыльце.

Но больше всего Лину поразило не это невесомое, казалось, приснившееся существо, а то, как на него смотрела мама. Как сияло лицо, какие необыкновенные были у нее глаза! Наверное, такие глаза бывают у людей, всю жизнь верящих в чудо и в итоге увидевших его.

Девочка ли шелохнулась, бурундучку ли было пора, но вдруг он исчез, словно растворился.

Лина только о бурундучке говорила и думала, даже не ленилась вставать, когда мать показывала его по утрам, словно бурундучок был любимым фокусом матери. А потом девочке пришла в голову мысль, которой она, обдумав все, как следует, поделилась с матерью.

— Давай его поймем, и пусть он у нас живет, — радостно предложила она матери.

Мать как-то странно вздрогнула.

— Но ведь он у нас и так живет, — мягко ответила она дочери, словно желая что-то проверить.

— Так он не у нас, он сам по себе, а когда он будет наш, я его буду кедровыми орешками кормить...

— Он умрет, — тихо сказала мать и виновато посмотрела на дочь, голос и лицо ее были печальными, словно это она была бурундучком.

— Умрет? Нет, не умрет, я не дам ему умереть... Мамочка, ну пожалуйста, ты ведь знаешь, что с ним делать, он у тебя не умрет...

Мать чем-то ее отвлекла, а бурундучок через несколько дней исчез из-под крыльца. Вспоминая это, повзрослевшая Лина не могла понять, что же произошло на самом деле: то ли мать, боясь, как бы дочь не осуществила задуманное, испугнула бурундучка, заставив его уйти. Или же бурундучок, почувствовав недоброе, сам ушел, растворился в воздухе.

\*\*\*

Дядя Петя собирался на охоту, и Лина неожиданно для себя стала проситься с ним. Дядя Петя на ее просьбы отмалчивался, тетя Надя предполагала, что он Лину не возьмет, но советовала еще попросить.

— Он никого не берет, любит в тундру один ходить, но ты попроси, как же, такой случай — быть у себя на родине и не сходить на охоту. Мать твоя в тундру любила ходить — надьшился и возвращается. Попроси!

Лина вышла вслед за дядь Петей на крыльцо, поощряемая тетя Надей: попроси, как же, приехала к себе домой... а я вам завидовать буду, если пойдете... Давно в тундре не была...

В ее словах была такая знакомая интонация тоски по тундре, интонация матери, что у Лины сжалось сердце.

Теть Надя наблюдала за ними из окна.

— Ну что, идем на охоту? — спросила Лина приглушенным голосом.

Дядь Петя посмотрел на нее и нехотя засмеялся.

— Ну-у, уговорила... Ладно...

— А мне ружье?

— Давай без ружья, второе у меня барахлит... Да и стреляла ты когда последний раз? В тире? Ну-у, в тире.... Да и тяжело тебе с ружьем идти будет...

Но Лина уже не слушала его. Без ружья, так без ружья. Она вернулась в дом и сообщила о своей победе тетя Наде. Той все не верилось, что муж вдруг согласился, и когда они последний раз перед охотой пили чай, тетя Надя все переспрашивала:

— Неужели берешь ее, старенький? Я второй рюкзак достала... Собрать?

\*\*\*

Было солнечно, но ближе к вечеру появился туман. Где-то вдалеке ехал вездеход, он слышался то с одной, то с другой стороны, а потом затих, будто так и увяз в тумане.

Они дошли до озерца, еще покрытого хрупким ледком, и остановились возле дерева. Дядь Петя блаженствовал, собирал ветки для костра, а Лина раскрыла пакет с припасами тетя Нади и принюхивалась к тундре. Потом сидела у костра и попивала густой чаек, пахнувший водой из озерца (здесь вода пахла!), травами и даже пожилой собакой Дингой, которая сидела рядом.

Вечер переходил в ночь, туман прошел, они пили чай, и над ними крякали и пролетали утки. Дядь Петя хватался за ружье, но не очень расторопно, похоже, что ему не особо-то и стрелять хотелось. Он смотрел уткам вслед, охал, досадуя, что упустил их, но тут же шел за дровами, чтобы поддержать костер. Собака тоже успокоилась и стала вылизывать банку из-под тушенки. Дядь Петя опять пил чай и называл пролетающих уток — у них оказалось очень много названий.

Вдруг Динга зарычала. Напротив них на озерце неторопливо опускалась утка. Лина глянула на Дингу, потом на ружье. Дядь Пети не было, он в очередной раз ушел за дровами. Динга внимательно смотрела на Лину, и она взяла ружье, ощутив холодный приклад.

В тире все было просто и понятно, а тут перед ней сидела покачивающаяся на воде живая утка. Лина прицелилась и выстрелила, как ей показалось, наугад, сама не зная зачем.

\*\*\*

Динга шлепала в озерце, вылавливая утку, а Лина спокойно и немного безразлично рассказывала прибежавшему на выстрел дядь Пете, как она целилась, как

выстрелила, рассказывала с усмешкой, как, она это уже знала, будет рассказывать об этом своим друзьям.

Динга оборвала ее на полуслове — мокрая-премокрая, она притащила в зубах какой-то предмет.

Дядь Петя взял его в руки.

— Чирок-ягодничек, — сказал он, — посмотри на свою добычу!

И бросил птицу ей на колени.

Она без особого интереса взяла холодное, мокрое тельце, которое несколько минут назад было уткой и плавало перед ней, потом крякало-стонало, а теперь было просто перьями, застывшими глазами, холодным клювом и лапами.

«Это уже произошло, — подумала она. — Как страшно».

— А я вот зайцев не могу убивать, — вдруг сказал дядь Петя.

Она удивилась — к чему это он? Потом спросила:

— Почему?

— Они как дети кричат, — пояснил он.

«Экий благородный», — усмехнулась Лина. Она посидела у костра, в который изредка, машинально подкладывала сучья и смотрела на пламя, а потом решила: спать, надо спать, расстегнула кукуль, забралась в него и провалилась в сон.

Где-то очень далеко слышались голос дядь Пети, лай Динги, но потом все исчезло, возникла мать в ночной рубашке — в какой она была накануне смерти, — она подошла совсем близко и улыбнулась.

«Мама, ты знаешь, что ты умрешь?» — в который раз закричала Лина.

Лина открыла глаза — перед глазами была ветка кедрача, в ушах звучал ее собственный крик, ладонь, на которую она положила лицо, было мокрой от слез.

Утром они возвращались в поселок. За несколько часов они прошагали сумасшедшее расстояние, дошли до поселка, вошли в дом, Лина отмахнулась от расспросов тетя Нади, стащила с себя одежду, забралась на диванчик и заснула.

Наверное, она стонала или кричала во сне, потому что тетя Надя будила, трясла ее за плечо, Лина просыпалась, говорила: ничего страшного, приснилась ерунда какая-то, — и опять кричала. А потом наконец успокоилась, заснула крепко, и приснилось ей детство.

\*\*\*

Они сидели на крыльце — том самом, из которого потом было суждено появиться и исчезнуть бурундучку, стояли белые ночи, и мать получитала-полурасказывала ей сказку.

— Жила женщина, и было у нее двое детей. Тяжело ей было. Не слушались дети, не помогали ей. С утра до вечера играли на улице, а в чум забежали только поесть.

Летом мать еще кое-как перебивалась. Но вот наступила осень, а за ней и зима. Тут уж бедной женщине совсем тяжело пришлось, зима была с сильными морозами, все звери ушли. Собралась мать на рыбалку, да не повезло ей: поймала несколько маленьких рыбешек и оступилась, провалилась в воду, промокла вся.

Заболела женщина и слегла. А ребятишки съели рыбу и побежали играть.

Плохо матери, мечется она на шкурах, зовет детей: «Детки, принесите мне воды, совсем мне худо...»

Целый день звала мать детей, просила ей помочь.

Только к вечеру, наигравшись вволю, дети захотели есть и наконец заглянули в чум.

Смотрят: стоит мать посередине чума, кухлянку надевает — и стала ее кухлянка перьями, вместо рук у нее крылья появилась, превратилась она в птицу и вылетела из чума.

Опомнились дети, поняли, что натворили, побежали за матерью, но не могли догнать. Долго бежали дети, в кровь стерли себе ноги, оставляя кровавые следы на камнях, ягеле, сопках...

— Вернись, мамочка! — кричали они матери.

— Ку-ку-у, ку-ку, — только и слышали в ответ.

Мать рассказывала эту сказку самым обычным голосом, но почему сказка так запомнилась Лине, почему она тогда прижалась к коленям матери и горько-горько плакала, а мать гладила ее по голове и смотрела куда-то далеко?

\*\*\*

«Вот ты уже и студентка. Приезжай, давно не виделись. Побудешь на каникулах, выспишься. Приезжай!» — писала ей мама. И она приехала, пробыла полтора месяца и собралась на материк.

Нет, это не было их последним прощанием — потом мать, уже больная, приедет в Москву и будет угасать на ее глазах.

Мать проводила ее до самолета — сначала Лине надо было лететь в районный аэропорт, чтобы пересесть на самолет в Петропавловск, потом — в Москву...

Что-то очень важное произошло тогда. Всю ночь они говорили о делах Лины, которые были как нельзя лучше, а утром поцеловались у самолета, мама уже и не говорила ничего, просто смотрела на дочь долго и печально, хотя и пыталась улыбаться.

В районном аэропорту пришлось ждать, и Лина пошла в магазинчик — купить немного конфет, она всегда была сладкоежкой. И тут в магазин забежал мальчик и сказал, что ее ищет какая-то женщина.

Сердце застучало, заколотилось. Лина изо всех ног бросилась в аэропорт и разрыдалась, увидев маму.

Оказывается, мама села в почтовый самолет, который летел позже, и привезла ей два килограмма свежих огурцов.

— Вернулась домой. Смотрю — сосед у теплицы возится, огурцы собирает, ну я про тебя и подумала... Ты их сейчас поешь, ты плохо позавтракала.

Как Лине тогда хотелось бросить все на свете и остаться с матерью, хотелось до боли. Она открыла рот, чтобы сказать это, но откусывала и откусывала огурец, давась им, в отчаянии глядя в улыбающиеся глаза матери. Сколько раз еще потом возникало это желание — все бросить, и каждый раз она будет говорить себе — надо... надо!

— Не унывай, воробышек, — мать погладила ее по голове, огрубевшая кожа на ее ладонях шершаво задела лоб. — Пора. Почтовый возвращается, меня зовут. Не провожай.

Лина смотрела ей вслед — мать не обернулась.

Лина положила в сумку два оставшихся длинных густо-ядовитых зеленых огурца и стала старательно ждать самолет. На регистрации она была первой, первой села в самолет и проспала весь полет...

Прилетела, ее закружили дела, и она очнулась только тогда, когда узнала, что мать больна. Сначала грешили на повышенную кислотность, и маму лечили гомеопаты. А потом повезли в онкологию, где Лина и услышала страшное — рак.

Жизнь устроена так, что родители невольно виноваты перед детьми в том, что все в этом мире смертно. Они дают им жизнь, которая обрывается смертью. Умирают родители, умирут и дети. И самая великая материнская любовь бессильна оградить ребенка от потрясения материнской смертью, которая напоминает ему, что смертен и он сам.

«Господи, я не знаю, есть ты или нет... Но, Господи, ты должен быть, иначе зачем все мы? Спаси ее, ты же справедлив, спаси, Господи!

Я верую в тебя, ты есть повсюду: в деревьях, облаках, животных, воде, ты во круг. Прости меня, бестолковую. Спаси ее, пощади, она не должна умереть, это нечестно, несправедливо, ты просто старый дурак, на кой черт тогда все!

Прости меня, прости! Я верую в тебя, это кричит мое отчаяние. Я буду веровать в тебя изо всей силы, я сделаю все, что ты скажешь, только спаси ее. Я не могу без нее, понимаешь? Я знаю, что такое любовь, ненависть, гнев, предательство, но я не могу без мамы, ее любви!

Господи, если ты есть, почему все так, куда ты смотришь, Господи?»

Ее поразило лицо матери, когда она умерла — спокойное, почти безмятежное.

Всех нас настигнет смерть, но что мы будем делать, когда станем умирать и пойдем это?

Была ли эта безмятежность усилием воли, и мать не хотела испугать дочь agonией, или же она умела радоваться даже самому последнему глотку жизни?

За неделю до смерти мать попросила ее почитать что-нибудь вслух.

— Книжку какую-нибудь. Почитай, а то Даша занята.

Даша была медсестра.

На тумбочке лежали несколько детских книг Лины, бережно сохраняемых матерью, она взяла их в больницу. Лина взяла их, начала перебирать.

— Какую ты хочешь? — спросила она, не зная, на чем остановиться.

— Любую, все равно, читай, какую держишь...

Лина развернула книгу и увидела знакомую иллюстрацию к сказке, которую так боялась в детстве — летит большая птица с женской головой, а за ней, по сопкам, стирая себе в кровь ноги, бегут дети...

— Да-да, сейчас, — она взяла другую книгу и начала читать.

— Привезут воду, скажи Михалычу, чтобы залил две бочки, вот эти, с синими крышками. Вообще-то у нас вода еще есть, но пусть Михалыч нальет. Мой-то, когда надо, привозит воду с речки, но сейчас у него на работе запарка, а я хотела постирать. Отдашь талоны и смотри, чтобы бочки до краев залил... Да Михалыч знает.

Теть Надя ушла, а Лина осталась сидеть на крыльце, убаюканная весенним солнышком, и уже немного задремала, как вдруг мягко шаркнула у забора машина — это была водовозка.

Лина взяла талоны и пошла к калитке. Динга зарычала. Лина потрепала ее за ухо, махнула невидимому водителю — проходи. Водитель вышел из машины, стал возиться со шлангом, а она повела Дингу к будке.

— Москвичка теперь? — вдруг спросил водитель.

Она почему-то глянула не на него, а в другую сторону, до того не вязался знакомый голос с водовозом и бочкой. То, что Михалыч вдруг оказался Юркой,



было так неожиданно, что она не успела ни о чем подумать — как нужно или как не нужно себя вести, — просто подалась к нему и уткнулась лицом в его плечо.

— Москвичка...

— А я тебя видел на берегу, вы шли...

Лина вскрикнула — вода перелилась через край бочки, и Юрка поспешно опустил шланг в другую бочку.

— Подожди, а Михалыч?

— Подменяю, его в райцентр увезли в больницу. А ты шла, высоко-высоко подняв голову, как в школе ходила... А я вот... по благу... водовоз...

Она слушала его и глупо улыбалась, а потом сказала, что это просто замечательно, что он водовоз, они налили еще несколько бочек, которые, может быть, и не нужно было наливать. Он предложил еще налить и бачок в доме, но потом они сообразили, что шланг короткий.

— Пойдем в дом, я тебя чайком угощу, поговорим толком, — предложила Лина и повела к дому, но тут вырвалась из будки Динга, зарычала на Юрку. Лина долго успокаивала собаку, потом Юрка споткнулся, запутался в сетке, постеленной вместо тряпки на крыльце, и... остановился.

Дом не пускал его.

\*\*\*

Жизнь была не очень-то приветлива с Юркой. Всевозможные грехи ему предсказывали еще тогда, когда он был мальчишкой. Мать у него была корячка, работавшая в столовой, а отец — геолог-забуддыга.

Лина вдруг подружилась с Юркой на два летних месяца перед седьмым классом, и они развлекали себя нелепой и даже опасной, по мнению взрослых, игрой: забирались на самую вершину ближней к поселку сопки и, быстро-быстро перебирая ногами, бросались вниз...

Но сначала надо было подняться на сопку, слыша за собой дыхание Юрки, на самую вершину, постоять там несколько долгих-долгих минут, чувствуя, как бьется сердце и потоки ветра пытаются сбросить с вершины, подмять под себя.

— А-а! — кричал стоявший рядом Юрка и бросался вниз.

Лина, выждав, мысленно прожив несколько таких прыжков, тоже кидалась вниз, ноги несли ее, казалось — она вот-вот упадет, но кочки упруго подбрасывали ее, кустарник подталкивал в спину, и она неслась вниз, обгоняя Юрку, счастливая этим полетом-падением...

В то лето Юрка взялся придумывать всякие испытания и лихо преодолевал их, не зная, что споткнется на первых настоящих...

Их походы в тундру продолжались всего два месяца — поселковые тетки в один голос предупреждали мать об испорченности Юрки, и Лине впервые было что-то запрещено — видеть Юрку. Впрочем, Лина особо и не переживала — то ли Юркины испытания утомили, то ли она поняла, что нужно готовиться к настоящим...

К десятому классу Юрка превратился из напарника в детских играх в загадочную личность, окруженную ореолом подвига: подрался со страшным Севкой, грозой школы, пил, курил, сквернословил, оправдывая предсказания односельчан. Правда, односельчане молчали о том, что материться Юрку научила его мать, а пить — грузчики, когда Юрка подрабатывал в порту.

К Новому году их два выпускных класса делали концерт в клубе — Лине выпало рассказывать стихотворение на английском. Юрка репетировал коряжский

танец. На репетициях они забавлялись тем, что смешили друг друга, и нужно было стараться быть серьезным, хотя так и подмывало засмеяться...

Тетки и тут донесли матери, что Лина целовалась с Юркой в клубе. На этот раз мать уже ничего запрещать не стала — да и зачем? Матери даже не пришлось ставить ее перед выбором — институт или Юрка. Все было и так понятно, все мысли Лины уже были о Москве, институте...

\*\*\*

Они сидели на крыльце тетя Надиного дома. Юрка молчал, она тоже.

Потом он спросил, как у нее сейчас дела. Она коротко ответила:

— Все хорошо.

Вернулась тетя Надя, и Юрка, что-то пробормотав, уехал. Тетя Надя ни о чем не спрашивала.

\*\*\*

Каждое утро тетя Надя нетерпеливо будила Лину и просила что-нибудь рассказать о городской жизни, как она говорила — что видела и где побывала.

Лина сначала отказывалась, не зная, о чем рассказывать. Потом что-то мелькало, будто взмах крыла, и она, пытаясь уловить это ускользаемое, неуловимое, начинала говорить, глядя куда-нибудь в сторону, особо не задумываясь над тем, что и о чем говорит, слова сами укладывались ладными кирпичиками, создавая причудливые сооружения.

Изредка в гости заходила Люба-бурятка — подруга мамы и тетя Нади. Люба собиралась уезжать с Камчатки, возвращаться в Бурятию, прошлым летом ездила на родину и в который раз рассказывала о своем посещении лам, которые стыдили ее, забывшую родной язык и религию.

— Ну что, Будя, собралась к своим будням ехать? — с ревностью спрашивала ее тетя Надя. — А мы, а Камчатка? Потом назад захочешь...

— Ой, и не говори-и... — соглашалась Люба. — Как без Камчатки, сама плачу, все думаю, думаю — там родина и тут родина...

\*\*\*

Ближе к вечеру тетя Надя пошла к мужу на работу: «Сколько ж эти двигатели крутить можно, надо и про дом вспомнить, заодно и покормлю...»

А Лина, побродив по дому, сидела на крыльце. Надо было бы встать, взять и накинуть на себя куртку, замерзла ведь, но она все сидела и сидела, смотрела на поселок: тонкие серебристые струйки дыма на фоне серо-молочного неба; изредка доносились шаги по деревянному тротуару; звенели собачьи перепалки.

Потом все-таки заставила себя встать, накинула куртку и обнаружила Юркину рукавицу возле крыльца. Она положила ее возле бочки с водой. Вернулась на крыльцо.

Почему-то ныло сердце.

Иногда к ней подходила старая Динга, обнюхивала ее, добродушно фыркала, помахивая хвостом. Но, сколько Лина ни старалась задержать ее возле себя, Динга уходила — она была занята делом, охраняя сарай с мотоциклом хозяина.

К щемящей сердечной боли примешивался звук, такой же тонкий и нервный, — возле Лины кругами, не приближаясь и не улетаая, пел, ввинчиваясь в мозг, комар.

Лина сидела и вспоминала какие-то обрывки жизни — ветку кедрача, грязный городской снег, свою машину, которую, как только она вернется в Москву, надо ставить на ремонт, невесомо-пушистый хвост бурундучка, ветер на вершине сопки, вечную спешку на работе, вопрошающе-ласковые глаза матери, холодное тельце чирка-ягодничка... И чувствовала себя маленькой девочкой на крыльце, возвышающемся над поселком, и поселок этот множеством глаз разглядывал ее, а у ее ног лежала рукавица, которую принесла Динга.

